

Асмодей Денница

ШЁЛК И ПОРОХ

Роман о семи вуалях

18+. Остросюжетный историко-эротический триллер
с элементами мистики и детектива

18+

Асмодей Денница
ШЁЛК И ПОРОХ

«Автор»

2026

Денница А.

ШЁЛК И ПОРОХ / А. Денница — «Автор», 2026

Её расстреляли в пять часов сорок семь минут. Париж, 15 октября 1917 года. Женщину в меховом мантио поверх шёлкового кимоно и в чёрных чулках везут на пустырь у Венсенского форта. Ей предлагают белую тряпку — завязать глаза. Она отказывается. Она стоит под прицелами двенадцати винтовок с высоко поднятой головой и улыбается так, как улыбаются люди, уже сделавшие шаг с края крыши. Её зовут Мата Хари. Танцовщица, куртизанка, самая фотографируемая женщина Европы — и самая удобная обвиняемая военной Франции. В её деле нет ни одного подлинного доказательства: три подложные бумаги, список из тридцати имён и семь недель допросов, в которых она путалась сама, потому что всю жизнь путала правду с красивой историей. Это роман о том, как государство делает из женщины шпионку, потому что ей нечем защищаться, кроме собственного тела и собственной лжи. О том, как эротика становится оружием, а оружие — интимнее любви.

© Денница А., 2026

© Автор, 2026

Асмодей Денница ШЁЛК И ПОРОХ

ПРОЛОГ. Пять часов сороксемь минут

«История — это то, что успели записать до того, как занесли перо.»— Из частного письма в Министерство юстиции. Париж, 1919

I

Бумага была тёплой, и это было первое, что её насторожило.

Нел де Врис держала фотографию на раскрытой ладони, как держат птицу, которая ещё не решила, умирать ей или улетать, и чувствовала сквозь тонкую перчатку архивиста, как от картона идёт ровное, живое тепло. В подвале нотариальной конторы «Ван дер Мер и сын» было четыре градуса. У неё мёрзли колени, у неё мёрз кончик носа, изо рта шёл пар, а снимок, пролежавший в запаянной жестянке шестьдесят три года, был тёплым, как ладонь под подушкой.

— Бонгерс, — сказала она, не оборачиваясь. — Бонгерс, идите сюда.

Старик не отозвался. Наверху, в конторе, шуршал приёмник, передавали прогноз погоды, обещали снег к вечеру. Нел постояла ещё немного, потом всё-таки положила фотографию на стол — осторожно, будто она могла проснуться, — и вытерла руки о свитер. Пальцы пахли гарденией.

В подвале не было гардени. В подвале не было ничего, кроме железа, плесени, ста восемнадцати папок и её собственного дыхания.

Она работала здесь третью неделю. Контора закрывалась: Бонгерсу было семьдесят четыре, наследников не имелось, а архив, который копился с тысяча восемьсот девяносто второго года, предстояло разобрать, описать и передать в муниципалитет. Скудная, хорошо оплачиваемая, аккуратная работа. Нел любила такие. В них нечего было бояться.

Жестянку она нашла на шестой полке четырнадцатого стеллажа, между делами о наследстве и коробкой с сургучными печатями. Жестянка была из-под дешёвого печенья, жестяная, с выцветшей дамой в кринолине на крышке, и обвязана шпагатом, концы которого были залиты воском и припечатаны. На крышке химическим карандашом, крупно, с нажимом:

ДЕЛО 2995. НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 1 ЯНВАРЯ 1982 ГОДА

М. КЛЮНЕ, АДВОКАТ. ПАРИЖ.

Январь прошёл. Был февраль.

Нел вскрыла воск ножом для бумаги — он пошёл в сургуч, как в масло, — и внутри, поверх всего, обнаружила записку на французском, написанную сухим, экономным почерком человека, привыкшего платить за слова:

«Тому, кто это откроет. Здесь нет ни одного документа, который французское государство признало бы существующим. Если вы голландец — вы поймёте, почему я отправил это в Амстердам, а не в Гаагу. Если вы голландка — тем лучше. Женщины хранят лучше, потому что им есть что терять. М. К.»

А под запиской лежали: фотография, конверт без адреса, маленький полотняный мешочек, перетянутый атласной лентой, и медная коробочка для визитных карточек, на крышке которой было выгравировано:

Вадим Маслов, капитан императорской гвардии.

Нел знала это имя. Знала она и другое. Она выросла в стране, где женщину с этой фотографии поминали в школе двумя словами, и оба слова были приговором. Она слышала их от бабушки, от учительницы, от тётки, которая держала парикмахерскую и любила говорить: «Вот будешь так себя вести — станешь как Мата Хари».

А теперь эта женщина лежала на её ладони, тёплая, и пахла гарденией.

На снимке был плац. Раннее утро, свет низкий, длинный, какой бывает только в октябре, когда солнце ещё не решило, всходить ему или просто посветить и уйти. Слева — казарменная стена, облупленная, с часами на башне. Внизу — двенадцать солдат в широких штанах, с винтовками. Офицер с саблей. Священник в сутане. Две монахини. Автомобиль с открытым верхом, всё ещё с работающим мотором, от которого по снимку размазан дымок.

И посреди плаца — она.

Нел видела эту фотографию раньше, в книгах, в плохих репродукциях, где всё сливалось в серое пятно. Здесь было не пятно. Здесь была женщина в длинном меховом манти, надетом прямо поверх шёлкового кимоно, в фетровой шляпе, завязанной под подбородком лентами, в чёрных чулках — они были видны, эти чулки, их было видно отчётливо, и это было непристойно, и именно поэтому Нел не могла отвести взгляд, — в высоких ботинках с шёлковыми бантами. Она стояла без повязки на глазах. Она стояла, держа голову высоко. И улыбалась.

Не улыбалась — улыбка была бы слишком человеческим словом. На лице у неё было выражение, которое Нел встречала только у людей, стоявших на краю высокого здания и уже сделавших шаг.

Часы на казарменной башне показывали пять сорок семь.

На обороте фотографии химическим карандашом, тем же, что на жестянке, было написано:

«Венсен. 15.X.1917. 5.47. Снимал сержант Д. по приказу капитана Б. Плёнка изъята. Один отпечаток. Сжечь остальное.»

И ниже, другими чернилами, тонко, женской рукой, с наклоном влево, три слова, которых не было ни в одной книге:

«Она была свидетелем.»

II

В Париже в то утро было холодно так, что вода в кувшине покрылась по краям ледяной коркой, толщиной в ноготь.

Она проснулась за минуту до того, как сестра Леонида отодвинула засов, — не от звука, а от того, что воздух в камере изменился, как меняется вода, когда в неё входит тело. За семь недель заключения она научилась просыпаться от этого. Тюрьма Сен-Лазар дышала. К трём часам её дыхание становилось влажным, к четырём — известковым, к пяти — кислым, как дыхание спящего старика. Она лежала на топчане, не открывая глаз, и пересчитывала звуки: капли, крыса, чьи-то шаги в конце коридора, чей-то кашель, чей-то смех — смех в женской тюрьме в пять утра звучит как вода в трубе.

Ей было сорок один год. Она знала, что у неё хорошее лицо, и знала, что оно уже не то лицо, которое знало зеркала на авеню Матиньон. В тюрьме не было зеркал. В тюрьме было одно окно с матовым стеклом и одна ложка, и в ложке было видно только глаз.

Дверь открылась.

Сестра Леонида — огромная, тёплая, с руками прачки — вошла, держа лампу низко, чтобы не бить светом в лицо, и от этого в камере сразу запахло керосином и хлебом. Хлеб пекли в подвале, и запах поднимался по трубам и шёл через решётку вентиляции.

— Сегодня? — спросила она.

— Сегодня, — сказала сестра Леонида.

Она не спросила «что сегодня». Это было бы глупо. Она подумала о дочери — о Нон, которой было восемнадцать и которая не знала о ней ничего, кроме того, что писала про неё газета, — и эта мысль прошла через неё, как игла через шёлк, не оставив дыры. Потом она подумала о том, что у неё нет чистых чулок, и это почему-то показалось важнее.

— Мне нужны чулки, — сказала она. — Чёрные. Шёлковые.

Монахиня помолчала.

— Мадам, вам не нужно...

— Мне нужно, — сказала она. — Я не собираюсь умирать в чужих чулках.

И сестра Леонида, которая за семь недель научилась не спорить с этой женщиной, принесла чулки.

III

Она одевалась медленно, потому что медленно одеваться было последней роскошью, которая у неё оставалась.

Сначала вода. Кувшин, таз, полотенце жёсткое, как кора. Она мыла себя всю, с той тщательностью, с какой мылась в Батиньоле перед выступлениями, — подмышки, грудь снизу, живот, внутренняя сторона бёдер, — и когда губка проходила по животу, тело отозвалось не холодом, а памятью. Тело вообще глупее головы. Тело не знает, что человека расстреляют через час; тело знает только, что его гладят, и отвечает на это так, как его научили отвечать.

Потом чулки. Она натянула их сидя, поднимая ногу и вытягивая носок, и чёрный шёлк лёг на ногу так, как ложится на ногу чёрный шёлк, — с той единственной линией по икре, ради которой мужчины придумали чулки и ради которой потом придумали войны. Она закрепила их подвязками, повыше колена, и на секунду задержала руку там, где подвязка впивалась в кожу, потому что это было единственное насилие над её телом, которое она выбрала сама.

Ботинки. Высокие, на шнуровке, с шёлковыми бантами. Манто — длинное, до пят, меховое, отделанное по обшлагам лисьим. Кимоно, в котором она спала, — плотный шёлк, пахнувший её собственным телом, сном и немного страхом, потому что страх тоже пахнет, и запах у него, оказывается, такой же, как у мужского семени: солёный, тёплый, стыдный.

Шляпа. Ленты под подбородком — чтобы ветер не сорвал, там, на пустыре, ветер всегда.

И вот тогда, когда она завязывала ленты, она увидела её.

IV

Женщина в белом платье стояла в углу камеры, у ведра, и держала руки так, как держат руки, когда в них был пистолет и когда пистолета уже нет.

Она не светилась. Она не была призраком в том смысле, в каком пишут в книгах. Она была плотной, обыкновенной, и от неё шёл запах франжипани — густой, тёплый, тропический, — и на платье у неё, на левой стороне, там, где сердце, расплывалось пятно, и пятно было свежее. Оно не высохло за пятнадцать лет. Оно блестело.

— Ты опять, — сказала она ей. — Ты всегда приходишь заранее.

Женщина не ответила. Она смотрела на неё с тем выражением, с каким смотрят на человека, который наконец догнал их на дороге.

Она видела её впервые на Яве, в ту ночь, когда та выстрелила себе в сердце, держась за её руку, — и в последнюю секунду, падая, посмотрела на неё не с укором, а с завистью. Потом она видела её в Марселе, на палубе, перед отплытием. Потом в Берлине, в номере «Метрополя», в зеркале, за её собственным отражением. Потом в Гааге. Потом здесь, в Сен-Лазаре, дважды: в ночь, когда ей объявили приговор, и сейчас.

— Сколько? — спросила она.

Женщина подняла руку и показала два пальца. Потом сжала их в кулак. Потом разжала. Семь.

Она засмеялась — коротко, беззвучно, одними плечами, — потому что семь было смешно. Семь вуалей. Семь минут. Семь недель. Она всю жизнь танцевала этот танец: семь вуалей, семь смертей, семь раз ты раздеваешься до последнего и обнаруживаешь, что под последним вуалью — ты сам, голый, и это никого не устраивает.

— Я не боюсь, — сказала она женщине. — Слышишь? Я не боюсь.

И это была правда примерно на треть.

V

Правда была в том, что она боялась не выстрела. Она боялась, что в последний момент её тело окажется честнее её и закричит.

Она села на топчан, сложила руки на коленях и стала вспоминать то, что нужно было вспомнить, — не Бога, не дочь, не мать с её семечками, — а комнату на улице Виндзор, дождь по стеклу и Вадима.

Он был русский, капитан, и он был на десять лет младше её, и он был единственным мужчиной в её жизни, который, раздевая её, всякий раз спрашивал разрешения — не словами, а тем, как его руки останавливались и ждали. У него были руки, которые умели ждать. Он расстёгивал ей корсет так медленно, что она начинала злиться, и злость эта была частью желания, потому что желание — это когда тебя ведут туда, куда ты и так собиралась, но ведут долго, кружным путём, через затылок, через ключицу, через внутреннюю сторону локтя.

Тогда, в номере, было жарко от дождя. Он положил её на постель лицом вниз и гладил по спине — не по спине даже, а по позвоночнику, позвонок за позвонком, как будто считал её, — и она лежала, обнажённая до пояса, с задранным юбкой, и чувствовала, как от каждого его пальца вниз, в живот, идёт горячая нитка. Она помнила, как он вошёл в неё — не сразу, а когда она уже почти просила, — как он вошёл и остановился, и они оба лежали неподвижно, и это было самое громкое, что случилось в той комнате: два человека, которые не двигаются и не дышат. А потом он сказал ей по-французски, плохо, с этим невозможно милым акцентом: «Ты как город, в которыйходишь ночью и не знаешь, где зажжётся свет». И она засмеялась, и от смеха всё внутри неё сжалось, и он вскрикнул, и дальше она уже не помнила слов, а помнила только, что дождь по стеклу шёл всё время, всю их близость, и что ладонь у неё онемела, потому что она держалась за спинку кровати.

Медная коробочка с его именем осталась в кофре. В третьем. Между фарфоровым сервизом и перламутровой пилкой.

Она сидела на топчане и думала: если после смерти остаётся хоть что-нибудь, пусть это будет не свет и не рай, а вот эта ладонь, онемевшая от спинки кровати.

VI

В Амстердаме, в подвале, Нел де Врис включила лампу над столом и разложила всё, что было в жестянке.

Фотография. Конверт. Мешочек. Коробочка.

Она работала архивистом двенадцать лет и знала главное правило: сначала опись, потом чувства. Но руки не слушались. Она развязала атласную ленту на мешочке и высыпала на ладонь семечки — обыкновенные, чёрно-белые, полосатые, подсолнечные, — и одна из них была тёплой, и одна из них была треснувшей, и из трещины уже выходил бледный, слепой, совершенно невозможный росток.

Семечко пролежало в запаянной жестянке шестьдесят три года. В темноте. В четыре градуса. Без воды.

Нел посмотрела на росток долго. Потом положила семечко обратно, завязала мешочек и сказала себе, что это бывает: масло, влага, конденсат. Она была разумным человеком. Она не верила в чудеса и не любила людей, которые в них верят, потому что такие люди обычно плохо заканчивают и утаскивают за собой других.

Конверт был без адреса, но не пустой: внутри лежал лист, сложенный вчетверо, и на листе — три строки, написанные тем же сухим почерком, что и записка.

«Третья строка — не моя. Я оставил её, потому что не решился вычеркнуть. Она не была шпионкой. Она была свидетелем. А. Д., лейтенант, Второе бюро. 3 ноября 1917 года.»

Нел знала архив. Она знала, что в деле Маты Хари нет никакого лейтенанта с инициалами А. Д. Она знала, что в списке офицеров Второго бюро за тысяча девятьсот семнадцатый год — она смотрела его в прошлом году, по другому поводу, — такой фамилии нет. Не было её и в списках погибших, и в списках награждённых, и в списках разжалованных.

Она перевернула фотографию и посмотрела ещё раз на женщину в меховом манто.

И вот тогда она увидела.

VII

За спиной у приговорённой, чуть левее, между священником и второй монахиней, стояла женщина в белом платье.

Её не было в тех репродукциях, которые Нел видела в книгах. Её не могло там быть: книги печатались с другого отпечатка, с того, что хранился в архиве военного министерства, — а на этом она была, и она была в фокусе, и она была единственным человеком на всём плацу, который смотрел не на приговорённую, а прямо в объектив.

У неё было спокойное лицо человека, который знает, что его не увидят.

И у неё на левой стороне платья, там, где сердце, было пятно.

Нел поставила фотографию на стол и отодвинулась вместе со стулом. Стул проехал по бетону с тем особым звуком, который в пустом подвале звучит как выстрел.

Наверху, в конторе, старик Бонгерс наконец услышал её и закричал сверху, весело, как кричат люди, которые всю жизнь проработали с бумагами и не ждут от них ничего, кроме скуки:

— Нел! Ты нашла что-нибудь интересное?

Она не ответила. Она смотрела на часы на казарменной башне — пять сорок семь — и на женщину в белом, которая смотрела в объектив, и на три строки, которых не было ни в одном архиве мира, и на бледный росток, который вылез из семечка в запаянной жестянке.

А потом она сделала то, чего не делала никогда за двенадцать лет работы.

Она надела перчатку и потрогала фотографию ещё раз — просто чтобы убедиться.

Тёплая.

И в этот момент в подвале, где не было никаких цветов, снова, ясно и близко, как дыхание у самого уха, запахло гардений.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Шляпник сулицы Калдерсе

«Провинция — это место, где человека запоминают раньше, чем он входит.»— Из письма фрисландского бургомистра. Леуварден, 1889*

I

В Леувардене, если вы спросите дорогу к дому, где родилась самая известная женщина Нидерландов, вам покажут не тот дом.

Вам покажут Камингхастат — старинное фризское поместье с фасадом цвета сливок, с двойным крыльцом и с окнами, в которых по вечерам горит свет, поставленный так, чтобы его было видно с улицы. Экскурсовод скажет: здесь, в колыбели, увитой лентами, лежала девочка, которой предстояло стать легендой. Он даже покажет место, где, по преданию, стояла эта колыбель, и туристы сфотографируют пустой угол.

Всё это враньё. Враньё, придуманное самой девочкой, потому что ей было стыдно за вторую половину улицы.

Настоящий дом стоял напротив. Тот же квартал, та же мостовая, те же липы, но другая сторона: узкий фасад, три этажа, над дверью — кованый крюк, на котором когда-то висела вывеска, а над окнами первого этажа — выцветшая полоса краски, оставшаяся от длинной деревянной рамы. В доме помещался шляпный магазин. Хозяина звали Адам Зелле, и он был человеком, о котором в городе говорили с той особой снисходительной усмешкой, какая приберегается для людей, слишком громко мечтающих.

Он был не глуп. Он был не злодей. Он был просто из тех, кто всю жизнь стоит на цыпочках.

Из актовой книги гражданского состояния города Леувардена.

«Тысяча восемьсот семьдесят шестого года, августа седьмого дня, в доме на улице Калдерсе родилась девочка, наречённая Маргаретой Гертрудой. Отец — Адам Зелле, торговец шляпами, тридцати шести лет. Мать — Антье Зелле, урождённая ван дер Мёлен, тридцати одного года. Свидетели: торговец Клаас ван дер Берг, извозчик Хендрик Постма.»

II

В витрине магазина всегда стояла одна шляпа.

Не три, не пять — одна. Это было принципом, и об этом принципе Адам Зелле говорил так, будто речь шла о государственном устройстве: одна шляпа — это идея, три шляпы — это товар. Он ездил в Амстердам смотреть, как устроены лучшие витрины, и возвращался оттуда с блокнотом, полным зарисовок, и с лицом человека, побывавшего в столице мира. В понедельник в витрине появлялся цилиндр. В среду — фетровая с лентой. В субботу — котелок, потому что по субботам в город приезжали фермеры.

Шляпу надевали на деревянную голову.

Голова была старая, из липы, с шейкой на железном штыре, и лицо у неё было не вырезано — только намечено: две впадины под глаза, бугорок носа, линия губ, стёртая до блеска. Маргарета, когда научилась ходить, разговаривала с ней. Она называла её Минной. Минна была первой женщиной в её жизни, которая умела молчать так, что это было интереснее любого разговора.

В доме пахло тремя вещами: варом, которым пропитывали тульи; уксусом, которым чистили фетр; и руками отца — табаком, потом и одеколоном, который он наносил на платок, чтобы не пахнуть работой. Он считал, что торговец обязан пахнуть не товаром, а возможностью.

Клиенток он обслуживал как священник служит обедню.

Он никогда не спрашивал «что вы хотите». Он спрашивал «для какого дня», и был в этом прав, потому что женщина, которая пришла за шляпой, почти никогда не знает, чего хочет; она знает только, куда собирается. Он усаживал её спиной к окну, ставил перед ней второе зеркало, наклонял лампу и начинал говорить. Говорил он о погоде, о ценах на фетр, о том, что в Амстердаме нынче носят поля поуже, — и всё это время его руки делали с её головой то, что портному позволено делать с плечом, а сапожнику с ногой.

Шляпа — единственная вещь в мире, которая даёт мужчине право взять чужую женщину за голову и повернуть её к свету.

Маргарета стояла в углу с коробками и смотрела.

Ей было десять, потом одиннадцать, потом двенадцать. Она видела, как под этими руками женщины меняются. Как у них опускаются плечи. Как они начинают говорить тише и смеяться невпопад. Как та, что вошла с лицом, похожим на закрытую дверь, уходит с лицом, похожим на открытую. Она не понимала, что именно происходит, но запоминала — так, как другие дети запоминают падежи.

И она запомнила главное: женщина в чужих руках говорит правду. Не словами — слова у неё всегда припасены, — а телом. Тело не умеет врать, когда его поправляют.

Мать пахла крахмалом и мылом. У неё были красные руки и тихий голос, и она делала в доме всё то, чего не видно: счета, бельё, обед, молитва перед сном, слёзы в конце месяца. В Голландии таких женщин называют «de stille kracht» — тихая сила. Их не замечают, пока они не кончатся.

III

Первого января 1883 года Адам Зелле купил дом на Грооте Керкстрат, двадцать восемь.

Маргарете было шесть лет. Она помнила этот день не как день, а как запах: в новом доме пахло воском, чужой собакой и старым деревом. Дом был патрицианский, с широкой лестницей, с лепниной на потолке, с камином, в котором огонь гудел, как в трубе. В прихожей висело зеркало в раме из чёрного дерева — высокое, в рост взрослого человека, — и Маргарета, пока родители разбирали ящики, встала перед ним и посмотрела.

Девочка в зеркале была худая, с тёмными волосами, с лицом, которое в шесть лет обещало слишком много и потому казалось чужим. Она улыбнулась. Отражение улыбнулось с опозданием на полвздоха, и от этого у неё по спине прошло холодом — не страхом, а чем-то более приятным, чему она тогда не знала названия.

Потом она делала это каждый день. Не из тщеславия — из любопытства. Она училась тому, чему в этом городе не учили ни в одной школе: как выглядеть, когда на тебя смотрят. Удивление. Нежность. Обида. Презрение — самое трудное, потому что презрение требует, чтобы уголки губ не дрожали. Она стояла перед зеркалом и репетировала лица, как другие дети репетируют гаммы.

В городе её отца стали звать бароном.

Это началось как шутка. Адам Зелле покупал перчатки, которые были ему велики; говорил «у нас, Зелле» так, будто речь шла о династии; повесил в конторе гравюру с видом Гааги и рассказывал посетителям, что его дед был при дворе. Город смеялся добродушно и называл его бароном — за глаза, а иногда и в глаза, и он делал вид, что не понимает, что это насмешка. Он принимал её как титул. Это было самое жалкое и самое человеческое, что в нём было.

Маргарета поняла это раньше, чем поняла многое другое. Однажды она услышала, как две покупательницы на улице говорят о её отце и смеются. Ей было девять. Она не заплакала. Она пошла домой, встала перед зеркалом и попробовала сделать лицо человека, который не слышал.

Получилось. Это её испугало и обрадовало одновременно.

IV

Школа стояла на углу, за каналом, и в школу ходили девочки в сером, коричневом и тёмно-синем — в цветах, которые в этом городе считались приличными.

Маргарета пришла однажды летом в платье в красно-жёлтую полоску.

Она знала, что делает. Она надела его утром, посмотрела в зеркало, повернулась, посмотрела через плечо, и сердце у неё забилося так, как бьётся у человека, который собирается прыгнуть в холодную воду. Потом вышла на улицу.

Улица обернулась.

Не вся — но достаточно: две женщины у колонки, старик, чинивший сеть, мальчишки, торговка, которая перестала раскладывать репу. И это длилось не секунду, а всю дорогу до школы, потому что она шла медленно, и юбка шла вокруг неё, и солнце шло по полоскам, и она чувствовала, что идёт не по мостовой, а по чему-то другому, натянутому, как кожа барабана.

В классе учительница сказала:

— Зелле, что это на тебе?

— Платье, — сказала она.

— Девочки не ходят в школу в таком.

— Я хожу, — сказала она.

Её не наказали. Наказывать было не за что — правило не было записано, оно просто жило в воздухе, как сырость. Её не наказали, но запомнили. Через шестьдесят лет одна из её соучениц, старая женщина с аккуратной седой головой, будет вспоминать об этом платье так живо, будто видела его вчера, — и в её голосе будет не осуждение, а что-то похожее на зависть.

Так Маргарета Гертруда Зелле впервые узнала главное правило своего будущего ремесла: мир устроен как витрина, и то, что выставлено, обсуждают, а то, что лежит в ящике, гниёт.

В августе, на кермис, она пошла с подругой на площадь.

Там пахло сахарной ватой, свиным жиром и мокрой соломой, играла шарманка, и человек с обезьяной на плече продавал счастье в бумажных пакетиках. Они ели пирожки, стоя у карусели, и Маргарета смеялась так, как смеются девочки, у которых ещё ничего не случилось.

А потом она почувствовала.

Это не было прикосновением. Это было натяжение — как будто откуда-то сбоку к ней протянули нитку и тянут, тянут, и она знает, что если обернуться, то встретит чей-то взгляд. Она обернулась.

У карусели стоял мужчина в хорошем пальто, с тростью, с лицом человека, который привык, что мир ему отвечает. Ему было лет сорок. Он смотрел на неё так, как смотрят на вещь, которую собираются купить, но ещё торгуются о цене, — без злобы, спокойно, с удовольствием.

Подруга дёрнула её за рукав:

— Не смотри. Пойдём.

Маргарета не пошла.

Она стояла и смотрела в ответ — три секунды, четыре, пять, — и чувствовала, как внутри неё что-то вытягивается струной и как от этого становится жарко щекам и холодно ладоням. Потом мужчина улыбнулся и приподнял шляпу. Она не улыбнулась. Она отвернулась первой — но отвернулась так, чтобы он успел увидеть её профиль, и знала, что он смотрит, и шла через толпу, чувствуя спиной этот взгляд, как тёплую ладонь.

Дома она не рассказала об этом никому. Лежала в темноте и думала: вот оно. Вот что у меня есть.

Власть — это когда ты решаешь, сколько секунд.

V

Про канал ей рассказала кухарка.

В Леувардене, сказала она, в воде живёт женщина в белом. Она не утопленница и не русалка. Она — та, что не успела. Она ходит по воде от моста к мосту и ищет своё отражение, потому что когда-то у неё его забрали. Кто забрал — не говорят. Забрали, и всё.

— И что будет, если она найдёт? — спросила Маргарета.

— Тогда, — сказала кухарка, — она заберёт чужое.

Маргарета потом много раз стояла на мосту и смотрела в воду. Она видела своё отражение — длинное, тёмное, дрожащее — и один раз, в сумерках, ей показалось, что рядом с её отражением стоит другое, белое, и что оно не дрожит.

Она не испугалась. Она подумала: ну и пусть. У неё было с кем поговорить, кроме Минны.

VI

Бедствие пришло не сразу. Оно пришло, как приходит вода в подвал: сначала по стене ползёт тёмное пятно, потом от стены пахнет, потом однажды утром ты спускаешься и видишь, что всё, что стояло на полу, стоит в воде.

В восемьдесят девятом Адам Зелле почти разорился.

Он брал векселя под будущие поставки. Он вложил деньги в нефтяные бумаги, о которых ему рассказал человек, показавшийся ему серьёзным. Он купил партию фетра по цене, которая была слишком хороша, чтобы быть правдой, и фетр пришёл с молью — не с одной молью, а с молью, которая, казалось, приехала целой семьёй и пригласила родственников. Он задолжал трём поставщикам, одному банкиру и своему шурина, что было хуже всего, потому что шурина приходил к обеду.

В июне к дому подъехал экипаж, из которого вышли двое в чёрном.

Маргарете было двенадцать. Она стояла на лестнице и смотрела сверху, как чужие люди ходят по их дому и записывают.

Из описи имущества, составленной по делу о несостоятельности А. Зелле. Леуварден, 1889.

Гостиная: диван на пружинах, обивка с потёртостью — 1. Кресла мягкие — 4. Стол овальный, красное дерево — 1. Часы стенные с боем — 1. Гравюра «Вид Гааги» в раме — 1.

Мастерская: болванки деревянные для формовки — 9. Утюги для фетра — 4. Машинка швейная — 1. Фетр чёрный, испорчен молью, к продаже не годен — 11 кусков. Голова деревянная для витрины — 1. Примечание: голова деревянная оценена в двадцать центов.

Минну продали за двадцать центов.

Маргарета узнала об этом от матери — та сказала как бы между прочим, вытирая руки о фартук, и в голосе у неё было не горе, а усталость. Девочка вышла на улицу, дошла до лавки старьевщика на углу и остановилась перед витриной. Минна стояла между медным тазом и клеткой без птицы, и на ней была шляпа, которую никто не купил, — серая, с лентой, сдвинутой набок.

Маргарета смотрела на неё долго.

— Ну что, — сказала она наконец. — Теперь ты тоже.

И пошла домой, и не оборачивалась, и это было первое в её жизни расставание, которое она пережила правильно: без слёз, с прямой спиной.

VII

Они переехали на Виллемскаде, в две комнаты и кухню, где зимой мёрзла вода в ведре, а летом пахло из канала.

Отец уехал в Гаагу искать удачу. Мать осталась с детьми и с долгами. Маргарета осталась с матерью.

Ей было тринадцать, и она впервые в жизни увидела, как выглядит бедность у людей, которые ещё вчера были не бедными. Бедность — это не отсутствие вещей. Бедность — это когда вещи есть, но они уже не те: скатерть с пятном, которое переворачивают вниз; платье, перешитое из платья; чай, заваренный второй раз; и главное — лицо матери, которая перестала ходить в гости, потому что не может прийти без подарка.

Из письма Х. ван дер Мёлена, шурина А. Зелле. Франкер, 12 марта 1890 года.

«Дорогой Адам. Я получил твоё письмо и, признаюсь, прочёл его дважды, потому что не поверил. Ты просишь триста гульденов и обещаешь вернуть к осени. Я дал тебе двести в позапрошлом году и не получил ни процента, ни благодарности. Антье больна. Дети живут в комнатах, где пахнет каналом. А ты пишешь мне о Гааге и о людях, с которыми ты якобы знаком. Адам, я не богат. Я торговец мукой, у меня четверо своих. Но я дам тебе сто — не под проценты, а под одно условие: приезжай и посмотри, как живёт твоя жена. Это не упрёк. Это счёт.»

Мать начала кашлять в конце зимы. Сначала по утрам. Потом весь день. Потом ночью, и этот ночной кашель был хуже всего, потому что в темноте он звучал так, будто в доме поселился кто-то третий и этот третий ходит по коридору.

Тридцать первого мая девяностого года отец вернулся.

Маргарета ждала этого возвращения как праздника. Она не знала, что люди, которых выгнали из дома обстоятельствами, возвращаются другими. Он вошёл — похудевший, в хорошем сюртуке, с тростью, которой у него раньше не было, — и в первые полчаса был весел, рассказывал про Гаагу, про то, какие там люди, про то, что скоро всё наладится. Через полчаса он увидел счёт от зеленщика, лежавший на комод, и лицо у него изменилось.

Он сказал матери что-то тихое. Она ответила тоже тихо. Потом он сказал громче, и это было слово, которое в их доме не произносили. Потом мать заплакала — не громко, а как плачут женщины, которые давно научились плакать беззвучно, — и ушла в кухню, и там долго гремела посудой, хотя мыть было нечего.

Четвёртого сентября они развелись.

Маргарете сказали об этом вечером, коротко, как сообщают о погоде. Она кивнула и вышла на улицу, и стояла у канала, и смотрела в воду, и в воде ничего не было, кроме её собственного лица и неба.

VIII

Мать умерла десятого мая девяносто первого года.

К тому времени её уже нельзя было узнать: тело под простынёй стало картой, на которой проступили все дороги — ключицы, рёбра, суставы пальцев, — и эта карта была страшнее любого лица. Маргарета поила её с ложки. Маргарета выносила за ней. Маргарета научилась делать это так, чтобы мать не чувствовала стыда, — вот чему она действительно научилась в этом доме, и это умение потом пригодилось ей больше, чем французский и танцы.

В последнюю ночь мать позвала её.

— Маргарета.

— Я здесь.

— Возьми.

В руке у неё был мешочек — маленький, полотняный, с затянутой горловиной. Она вязала его несколько дней, и Маргарета думала, что это от бессонницы, от нужды занять руки.

— Семечки, — сказала мать. — Подсолнечные.

— Зачем?

Мать помолчала. За окном было темно, и в темноте кто-то шёл по улице — шаги, потом тишина, потом снова шаги.

— Подсолнух, — сказала она, — всегда подсолнух. Даже когда от него остались одни семечки. Из них нельзя вырастить розу. Нельзя вырастить тюльпан, наш тюльпан, самый красивый цветок на свете. Как ни старайся — вырастет подсолнух. И если он вздумает отречься от себя, то будет жить плохо и умрёт рано. Понимаешь?

— Нет, — сказала Маргарета.

— Поймёшь, — сказала мать. — Всё проходит. Молодость проходит. Красота проходит. Даже горе проходит, хотя в это трудно поверить. Остаются семена.

Она закрыла глаза и больше ничего не сказала.

Маргарета просидела с ней до утра, держа за руку, и в какой-то момент поняла, что рука стала другой — не холодной, а просто чужой, как вещь. Тогда она встала, подошла к двери и остановилась.

В прихожей стенные часы с боем остановились.

Она посмотрела на них и запомнила время: пять сорок семь.

Часы потом чинили. Они шли ещё двадцать шесть лет, они шли, когда их хозяйку вели через плац в Венсене, и на фотографии, снятой в то утро сержантом по приказу капитана, часы на казарменной башне показывали то же самое время — пять сорок семь. Но этого Маргарета уже не узнала. А может быть, и узнала: у неё было достаточно времени, чтобы вспомнить.

IX

Отца не было на похоронах — он был в Амстердаме, где уже жил со второй женой в бедном квартале на Ланге Лейдсхедварстрат, и где его, обанкротившегося торговца, никто не называл бароном.

В ноябре за Маргаретой приехал крестный — господин Фиссер из Снеека, маленького городка в двадцати километрах, где дома стоят вдоль канала и где все друг друга знают по имени, по лодке и по греху.

Она собрала вещи в один сундук. Вещей было немного: два платья, пальто, бельё, молитвенник, который она не открывала, шкатулка с лентами, фотографическая карточка отца в хорошем сюжете и тростью. И мешочек с семечками, который она положила на дно, под всё остальное, чтобы никто не спрашивал.

Перед тем как выйти, она встала перед зеркалом в прихожей.

Зеркало было то же самое — высокое, в чёрной раме, — но в нём стояла уже не та девочка. Эта была выше, худее, с лицом, на котором уже не было ничего детского, и с глазами, которые умели делать выражение «я не слышала».

Она попробовала улыбнуться. Получилось не сразу.

— Ну что, — сказала она отражению. — Теперь ты.

Телега тронулась. Дом на Грооте Керкстрат, двадцать восемь, поплыл назад, и мимо проплыла лавка старьевщика, в витрине которой уже не было ни Минны, ни клетки, ни медного таза — только три шляпы, повешенные в ряд, и это было некрасиво, потому что три шляпы — это товар.

Ей было пятнадцать лет.

Через полтора года её отправят в Лейден, в единственную в стране школу, где учили присматривать за чужими детьми. Это было худшее решение из всех возможных, и оно определило всё остальное.

ГЛАВА ВТОРАЯ. Семечкоподсолнуха

«Родители дают детям не будущее, а корни. Будущее приходится красть самим.» — Из дневника учительницы. Лейден, 1890

I

В Снееке пахло сыром, водой и свежеструганой доской.

Город был маленький: две улицы, канал, церковь с плоской башней, мост, который разводили четыре раза в день, и люди, которые знали друг о друге всё, кроме того, что было действительно важно. Дома стояли вплотную, плечом к плечу, как старухи на рынке, и в каждом окне висела занавеска, за которой ничего не происходило.

Крёстный, господин Фиссер, держал лавку и был вдовцом. У него были гладкие руки, чистый воротничок и привычка говорить негромко, так что собеседник невольно наклонялся. В его доме Маргарете отвели комнату под крышей — с окном в крыше, с кроватью, застеленной так аккуратно, что страшно было лечь, — и с первого же дня дали понять, что она здесь не дочь, а обязательство.

Она это поняла не по словам. По тому, как ей наливали молоко — до половины чашки, а не до края. По тому, как её хвалили: «аккуратная девочка». По тому, как в разговорах с соседями крёстный называл её «ребёнок моей покойной кумы», будто она была не человеком, а долгом, оставшимся от чужой смерти.

Ей было пятнадцать.

В этом возрасте человек ещё не умеет быть благодарным — он умеет только быть неудобным. Она мыла посуду слишком громко. Она читала за столом. Она задавала вопросы, на которые в Снееке не отвечали: почему у соседки нет мужа, почему пастор такой злой, почему нельзя ходить на мост после десяти. Крёстный отвечал ей ровно, вежливо и всякий раз смотрел немного в сторону.

А потом, в феврале, он позвал её в контору и сказал:

— Маргарета, тебе надо учиться.

Она стояла перед ним, держа руки за спиной, как учили.

— Я умею читать и писать, — сказала она.

— Этого мало, — сказал он. — Женщине нужна профессия. Я написал в Лейден. Там есть школа — единственная в стране, — где готовят воспитательниц детских садов. Тебя возьмут. Это почтенное дело. Ты будешь присматривать за детьми.

Он думал, что делает добро. Он действительно думал так, и в этом не было ни капли злобы. Он просто не видел того, что видел любой, кто смотрел на неё дольше минуты: что девочка, которой говорят «присматривай за детьми», слышит «живи чужую жизнь».

Маргарета кивнула.

— Спасибо, — сказала она.

А ночью, в комнате под крышей, лежала с открытыми глазами и смотрела, как по потолку ходят тени от фонаря на мосту. В голове у неё было тихо и ясно, как бывает только в пятнадцать лет: она уедет. Она куда-нибудь уедет. Не важно куда — важно, что из этого города, из этой комнаты, из этой чашки, налитой до половины.

Перед отъездом она съездила в Леуварден — на день, одна, на пароходике по каналу, с корзинкой, в которой лежали хлеб, яблоко и три тюльпана, купленных у женщины на пристани.

Кладбище было за городом, за низкой стеной, и там было тихо так, как бывает тихо только в местах, где никто не разговаривает. Могила ещё не обросла: холм, деревянный крест, имя, выведенное краской, которая уже начала шелушиться.

Маргарета села на землю, не заботясь о платье, и положила тюльпаны.

— Ну вот, — сказала она. — Меня отправляют учиться.

Ветер прошёл по траве, и на секунду ей показалось, что кто-то вздохнул. Она не обернулась.

— Я не хочу присматривать за чужими детьми, — сказала она. — Я вообще не хочу присматривать. Я хочу, чтобы смотрели на меня.

Она помолчала, потом добавила, тише:

— Ты не сердись.

Она просидела там час, а может, два. Рассказала матери про крёстного, про молоко до половины, про то, что в лавке пахнет сыром и что от этого запаха у неё иногда болит голова. Рассказала про то, что видела во сне отца — будто он идёт по улице в сюртуке, который ему велик, и все оборачиваются и смеются, а он не замечает.

А потом она достала из кармана мешочек, развязала его и высыпала на ладонь несколько семечек.

— Ты сказала — остаются семена, — проговорила она. — Я не поняла, что это значит. Но я взяла.

Она закопала три семечка у креста, в мёрзлую землю, ногтем, потому что нечем было копать, и заровняла ладонью.

— Если вырастут, — сказала она, — значит, ты была права.

Ничего не выросло. Она потом узнала об этом через много лет — проездом, из любопытства, — и на месте, где она копала, не было ничего, кроме травы и муравейника.

Но в ту минуту ей было всё равно. В ту минуту она встала, отряхнула платье и пошла к пароходу, и шла быстро, потому что впервые в жизни у неё было дело, которое она выбрала сама: уехать.

II

Лейден был другим миром, и этот мир ей понравился сразу.

Он был старый, тёмный, книжный. В нём пахло типографской краской, мокрым камнем и студентами — потом, пивом и дешёвым табаком. По улицам ходили люди, которые спорили о вещах, о которых в Снееке не спорили вовсе: о Боге, о свободе, о том, можно ли любить двух женщин одновременно. Над дверями висели таблички с латинскими словами, и Маргарета, проходя мимо, читала их вслух, чтобы научиться произносить незнакомое.

Школа помещалась в старом доме за каналом — три этажа, узкая лестница, скрипучие половицы, вытертые до белизны там, где по ним ходили сто лет.

Это была единственная в Голландии школа, где учили на воспитательницу детского сада. Здесь преподавали методику Фрёбеля: дети играют, а через игру постигают мир; у каждого ребёнка есть «дар» — куб, шар, цилиндр, — и из этих простых тел он строит свой первый дом. В шкафу за стеклом лежали эти дары: деревянные кубики, аккуратно уложенные в коробки, гладкие, тёплые, пахнущие воском.

И там же, на верхней полке, сидела тряпичная кукла без лица.

Маргарета заметила её в первый же день и потом всё время о ней думала. Куклу использовали на занятиях: лицо ребёнок дорисовывал сам, чтобы кукла была «его». Но эту так и не дорисовали. Она сидела за стеклом, улыбаясь пустотой, и Маргарете казалось, что кукла смотрит на неё, как Минна, — спокойно, без ожидания, без надежды.

Девочек в школе было двадцать три. Все они были из тех, кого в Голландии называли «материнского типа»: круглолицые, терпеливые, с руками, которые сами собой начинали вязать. Они умели слушать, умели ждать, умели не высовываться.

Маргарета не умела ничего из этого.

Зато она умела другое. Она замечала, кто из преподавателей пьёт, кто боится жены, кто прячет в кармане письма. Она замечала, что директриса, когда злится, трогает брошь. Она замечала, что в столовой лучше сесть спиной к окну, потому что свет режет глаза и все прищуриваются, а прищуренные лица выглядят добрее.

Она училась. Только не тому, чему её учили.

В декабре школа давала концерт для попечителей.

Девочки готовились три недели: разучивали хор, шили из марли крылья для «ангельского хода», репетировали стихотворение о зимнем вечере, в котором рифмовались «снег» и «навек». Маргарете досталась вторая строфа, та, где говорилось о тепле домашнего очага, и это было смешно, потому что домашнего очага у неё не было уже два года.

В зале поставили лампы вдоль стен, на окна повесили тёмные шторы, и от этого вечер стал похож на театр. Попечители сидели в первом ряду: три пожилых господина и две дамы, от которых пахло лавандой. Директриса стояла сбоку и трогала брошь.

Хор спел. Ангелы прошли. Потом объявили её.

Она вышла — в тёмном платье, с лентой в волосах, — и остановилась на середине сцены, и на секунду в зале стало очень тихо.

Она знала, что делать с этой тишиной. Она подняла подбородок и подождала ещё немного — ровно столько, чтобы тишина успела стать неудобной и все эти люди успели подумать: ну же.

Потом она прочла строфу.

Она прочла её не так, как учили. Ей велели «с выражением», и все девочки читали с выражением, то есть повышая голос на последнем слове каждой строки. Она читала тихо. Она читала так, будто говорит с одним человеком в пустой комнате, — и от этого тридцать человек в зале наклонились вперёд, и она видела, как они наклоняются, и от этого у неё внутри поднималось что-то тёплое и тяжёлое, как поднимается вода в колодце.

Когда она закончила, было молчание — длинное, неловкое, — и только потом захлопали, громче, чем всем остальным.

Хаанстра за пианино не хлопал. Он смотрел на неё, и у него было лицо человека, который только что понял, что болен.

А она стояла, держала юбку двумя пальцами, кланялась — и думала совсем не о стихах.

«Вот, — думала она. — Вот как это делается. Я могу взять целую комнату и сделать с ней что захочу, и для этого мне не нужно ничего, кроме тишины и трёх секунд».

Ей было шестнадцать. Она ещё не знала, что за такие открытия платят дважды: первый раз — когда их делают, второй раз — когда их используют.

III

Его звали Вюбрандус Хаанстра.

Он преподавал методику и вёл занятия по музыке — то есть сидел за пианино, а девочки пели, и от этого в классе пахло лаком, пылью и разогретым деревом. Ему было под сорок. У него были длинные пальцы, редкие волосы, зачёсанные назад, и манера держать мел так, будто он извиняется за то, что пишет.

Сначала она его не заметила. Она вообще не замечала мужчин, которые не смотрели на неё первыми, — это была не гордость, а устройство: она считывала интерес, как считывают погоду.

Он начал смотреть на второй месяц.

Не так, как смотрел тот человек с тростью на кermисе. Тот смотрел на неё как на вещь, которую оценивают. Хаанстра смотрел как человек, который болен и старается не кашлять. Он отводил глаза слишком быстро. Он поправлял воротник, когда она входила. Он говорил с ней на полтона ниже, чем с другими, и один раз, объясняя, как держать руку ребёнка при письме, взял её руку и не сразу отпустил.

В тот вечер она лежала в дортуаре, слушала дыхание двадцати трёх девочек и думала о том, что этот человек — взрослый, уважаемый, с домом и, вероятно, с женой — сейчас лежит где-то и не спит из-за неё.

И ей стало не страшно, а интересно.

Это и было самое опасное. Не он — она. В ней проснулось то самое чувство, которое она впервые ощутила у зеркала в прихожей: я могу. Я могу сделать так, что человек перестанет быть собой. Не потому, что я красива, — красота тут ни при чём, — а потому, что я вижу, где у него трещина, и умею в неё смотреть.

Она не знала, что за это платят. Она узнала позже. Все узнают позже, и почти никто не связывает счёт с тем, за что его выписали.

IV

Он попросил её остаться после урока.

Было четыре часа, зимний свет уже ушёл, в классе горела одна лампа, и в её свете парты казались вырезанными из чёрной бумаги. Он стоял у пианино и говорил о том, что у неё есть слух, что ей надо заниматься, что он мог бы с ней позаниматься отдельно.

Она слушала и смотрела на его руки. Руки у него дрожали — не сильно, так, что это было заметно только ей, потому что она уже умела замечать.

А потом он подошёл к двери и повернул ключ.

Звук был маленький. Металл о металл, один щелчок, — но в пустом классе он прозвучал так, будто в доме выключили весь воздух. Маргарета стояла у парты и смотрела на его спину, и в голове у неё было очень ясно и очень спокойно: вот оно. Вот тот момент, о котором предупреждают, и он оказался не страшным, а тихим.

Он обернулся.

— Маргарета, — сказал он. — Я не могу больше.

Что было дальше, она потом рассказывала по-разному.

Так бывает с людьми, пережившими не столько боль, сколько стыд: память не стирает событие, она его переписывает. Одной подруге она сказала, что он всего лишь поцеловал ей руку и заплакал. Другой — что он говорил двадцать минут, а она считала удары часов. Третьей — что она сама взяла его за галстук и сказала: «Ну?» И в каждом из этих рассказов была своя правда, потому что правда о таком вечере не в том, что произошло, а в том, что осталось после.

А после осталось вот что: полутёмный класс, запах лака, взрослый мужчина, который плачет, потому что ему сорок лет и он не может справиться с собой, и девочка шестнадцати лет, которая стоит и не знает, что ей делать с чужой слабостью.

Она не боялась. Она не понимала, что её используют, — она думала, что использует она. Это ей дорого стоило. Не тогда — потом.

V

Узнали через одиннадцать дней.

В таких заведениях всегда узнают через одиннадцать дней: кто-то видел свет в окне класса, кто-то слышал, как повернулся ключ, кто-то завидовал. Директриса вызвала её к себе и говорила долго, ровно, глядя в стол, — и Маргарета впервые поняла, что взрослые, когда им стыдно, говорят с мебелью.

Хаанстру она больше не видела. Его имя потом вычеркнули из бумаг так тщательно, что осталась дыра, — и эта дыра была красноречивее любой записи.

А её отправили.

Не наказали — отправили. В Голландии девяностых годов порок не наказывали, его перевозили в другой город, как перевозят больную мебель: чтобы не заражала остальные комнаты.

Из книги записи воспитанниц Лейденской школы. 1893 год.

« 14. Зелле, Маргарета Гертруда, 1876 г. р., урож. Леувардена. Принята 1892 г. Отчислена 1893 г. по причине, изложенной в письме попечителя от 3 марта. Успеваемость: удовлетворительная. Поведение: — »

(Слово после «поведение» залито чернилами; ниже, другой рукой, тонко: «Вычеркнуть. Не позорить школу.»)

VI

Дядя Таконис жил в Гааге, в доме с высокими окнами и с прислугой, которая ходила на цыпочках.

Гаага была столицей без короны — город чиновников, дипломатов, вдов и офицеров. Здесь стояли особняки с лепниной, здесь по утрам выгуливали собак, здесь в кафе сидели люди, которые знали друг друга по фамилии и по должности, и здесь, в двадцати минутах езды, был Схевенинген — море, песок, деревянные павильоны на сваях, ветер, от которого женщины придерживали шляпы обеими руками.

Маргарете было семнадцать.

Дядя был вежлив так, как бывают вежливы люди, которым неудобно. Он дал ей комнату, стол и правило: возвращаться до десяти. Он не спрашивал, что случилось в Лейдене, — он знал, — и это было хуже любого вопроса, потому что молчание в доме росло, как плесень.

Зато был Схевенинген.

Там, на набережной, в конце девяностых годов можно было встретить половину офицерского корпуса Голландской Индии: люди возвращались с Явы, из Суматры, с Целебеса — загорелые, обветренные, с руками, привыкшими к оружию, с глазами, привыкшими к горизонту, и с той особой свободой в манерах, которая бывает у мужчин, долго живших там, где женщин мало, а смерть близко.

Она полюбила мундир.

Не человека в мундире — сам мундир: сукно, пуговицы, ремень, запах меди и мыла. Мундир делал человека значительным, а значительность была единственной валютой, которую она понимала. В Леувардене её отец надевал сюртук, чтобы казаться; здесь мужчины надевали мундир, и им не надо было казаться — им верили на слово.

Она гуляла по набережной, и ветер выдувал из-под шляпы волосы, и она знала, что идёт правильно: медленно, чуть боком к ветру, с поднятым подбородком. Она уже понимала, что красивая женщина на набережной — это не женщина, а событие, и что событие должно происходить там, где его увидят.

Один лейтенант — молодой, с обветренным носом — проводил её до дому и на прощание поцеловал руку.

— Вы позволите? — спросил он.

— Я же не отняла, — сказала она.

Он написал ей потом два письма. Она не ответила ни на одно: у неё уже был опыт — то, что легко достаётся, не ценят.

Был и другой вечер — в деревянном павильоне на сваях, где играл оркестр и где от ветра дрожали стёкла.

Тот же лейтенант — или, может быть, его товарищ, она потом не могла вспомнить лицо, — увёл её на галерею, к перилам, за которыми было чёрное море и белая пена у свай. Он говорил что-то про Яву, про то, что там ночи как бархат и что женщине там нечего делать, если она не замужем. Она слушала вполуха и смотрела, как внизу вода бьётся о дерево: раз, два, раз, два, — и от этого ритма у неё в теле становилось тепло и лениво.

Потом он замолчал и наклонился.

Она не отстранилась. Она дала ему поцеловать себя — коротко, сухо, почти неловко, — и в ту же секунду поняла две вещи.

Первая: это ничего не значит. Ни для неё, ни для него. Это как пожать руку, только рука — губы.

Вторая: для него это значит всё. Он сразу стал другим — задышал часто, взял её за локоть, начал говорить быстро и не то. И она, стоя в темноте, с солёным ветром в волосах, почувство-

вала то самое холодное, ясное удовольствие, которое уже знала по классу с запертой дверью: она держит в руке нитку, и на другом конце нитки — взрослый мужчина.

Она высвободила локоть.

— Мне пора, — сказала она. — Дядя ждёт.

Он проводил её до дому и всю дорогу говорил о будущем. У ворот она подала ему руку — для поцелуя, как положено, — и увидела в его глазах то, что видела потом сотни раз: надежду, которая ещё не знает, что она уже проиграла.

Дома она поднялась к себе, села на кровать, не зажигая лампы, и долго смотрела на свои руки.

«Я могу, — думала она. — Я действительно могу. Господи, как это много и как это мало».

VII

Четырнадцатого августа 1894 года в Голландию вернулся офицер, о котором она тогда ничего не знала: капитан Рудольф Маклеод, тридцать девять лет, шестнадцать из них — в колониях.

Он был высокий, крепкий, с круглым лицом и длинными закрученными усами; на голове у него почти ничего не осталось, и он носил шляпу с той тщательностью, с какой носят вещь, которая должна скрывать не лысину, а возраст.

В газете, которую читал дядя, в конце колонки объявлений, стояло:

«Офицер, возвращающийся на службу в Ост-Индию, желает познакомиться с молодой особой приятной наружности с целью брака. Ответ до востребования.»

Маргарета прочла это объявление, и в ней что-то щёлкнуло — тихо, как ключ в замке, но уже без страха.

Она села и написала.

Она писала два часа. Она не врала — она выбирала. Она писала о том, что любит музыку, верховую езду и путешествия, что ей девятнадцать (ей было восемнадцать), что она сирота (отец был жив и жил в бедном квартале Амстердама), что мечтает увидеть Восток.

Письмо получилось хорошее. Это было её первое настоящее произведение — не считая лиц перед зеркалом.

Позже она узнала, что объявление разместил друг капитана, в шутку, что желающих оказалось пятнадцать, и что её письмо было шестнадцатым — последним в пачке, которое он прочёл, потому что оно упало на пол.

На первую встречу он пришёл в полной форме, с саблей, нафабрив усы так, что они блестели на солнце, как два куса антрацита.

Она увидела его издалека и подумала: «Ну вот».

Он был не красив. Он был не стар — он был какой-то уже готовый, как дом, в котором давно живут: всё в нём было на месте, всё притёрто, и не было ни одной двери, которую можно открыть неожиданно. Он говорил громко, смеялся коротко, пил больше, чем следовало, и называл её «маленькая голландка», хотя она была выше половины его знакомых дам.

Через неделю он пришёл к воротам снова — и это было уже событием для всей улицы: старухи в окнах, горничные на крыльце, дядя с газетой, забывший перевернуть страницу.

На третьей встрече он сказал:

— Я должен вернуться. Через два месяца. Поедете со мной?

— Куда? — спросила она.

— На Яву, — сказал он.

VIII

Отец приехал в Гаагу в большой карете — он настоял на карете, а не на экипаже, и это было единственное, что он выторговал у своей гордости. Он был обанкротившийся торговец из бедного квартала, и он ехал в карете с лошадьми к будущему зятю, офицеру из старого шотландского рода, и всю дорогу молчал, потому что говорить было нечего.

Приданое собирали всем миром.

Две тётки по матери дали по сто гульденов и по паре серебряных ложек. Шурин, торговец мукой, — тот самый, что когда-то написал «это не упрёк, это счёт», — прислал триста и записку: «Долг закрыт. Дай Бог ей не знать, что такое счёт». Соседка, у которой Маргарета когда-то покупала ленты, принесла отрез полотна и сказала: «На первое бельё». Никто не спрашивал, почему приданое собирают для девушки, у которой нет матери, и почему её отец, который ещё шесть лет назад держал дом на Грооте Керкстрат, теперь стоит в чужой прихожей и держит шляпу в руках.

В Голландии такие вещи не обсуждают. В Голландии их записывают в церковную книгу и молчат.

Он дал согласие.

Он даже заплакал — коротко, сухо, отвернувшись, — и Маргарета впервые за много лет почувствовала к нему не раздражение, а жалость. Он был человек, который всю жизнь стоял на цыпочках и так и не дотянулся.

Из «Леувардер Курант», 9 июля 1895 года:

«Венчание. В четверг, 11 сего месяца, в Гааге Его Высокоблагородие капитан Р. Маклеод, офицер колониальной армии, сочетается браком с девицей М. Г. Зелле, младшей дочерью г-на А. Зелле, некогда известного в нашем городе торговца шляпами. Семья жениха принадлежит к старинному шотландскому роду, дававшему Голландии не одного офицера. Молодым желают попутного ветра».

Так в газете и написали — «некогда известного». Отца это не обидело: он вырезал заметку и вставил в рамку, и она висела у него в комнате на Ланге Лейдсхедварстрат, над кроватью, до самой его смерти.

Свадьбу сыграли одиннадцатого июля 1895 года.

Было жарко. В церкви пахло воском и пылью, у невесты был венок из флёрдоранжа, у жениха — мундир, у гостей — лица людей, которые пришли не праздновать, а присутствовать. Мать не пришла: мать лежала на кладбище в Леувардене, и её место в первом ряду

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.